

Они встретились в центре зала станции метро «Заельцовская». Поднялись по эскалатору... Вышли в город.

Улицы, знакомые до боли. Фонари, знакомые до боли. Облака, знакомые до боли.

В центре с утра, когда шел один Вокзальной магистралью в сторону Красного проспекта — все было новым, строящимся, непривычным. Почти столичный блеск и шик! А здесь — родной рабочий квартал, и обстановка почти та же, что и тогда, когда уезжал, когда спасался бегством.

Круглые плафоны фонарей, ввинченные прямо между кирпичей пятиэтажек. «Как в Париже» — усмехнулся про себя. А внешне был угрюм и малоразговорчив, но это, кажется, ничуть не смущало его спутницу.

По мере приближения к цели крепчал соблазн развернуться и уйти. Резко передумать у входа в подъезд, пробормотать в свое оправдание какой-нибудь скоропалительной чепухи, и в обратный путь, к метро, побежать по эскалатору вопреки правилам, успеть заскочить в поезд, потом опять Красный проспект, Вокзальная магистраль, кассы дальнего следования... Гм, куда бы проследовать. Там, откуда он прибыл, было ничем не лучше. Он и вернулся сюда, чтоб размотать запутавшийся клубок — или разрубить махом, как уж получится.

Переступив порог прихожей, спутница будто сделалась еще невозмутимее. Предложила тапочки, повесила на крюк его одежду. Прошла на кухню, нажала кнопку электрочайника, села за стол, жестом пригласила присоединиться.

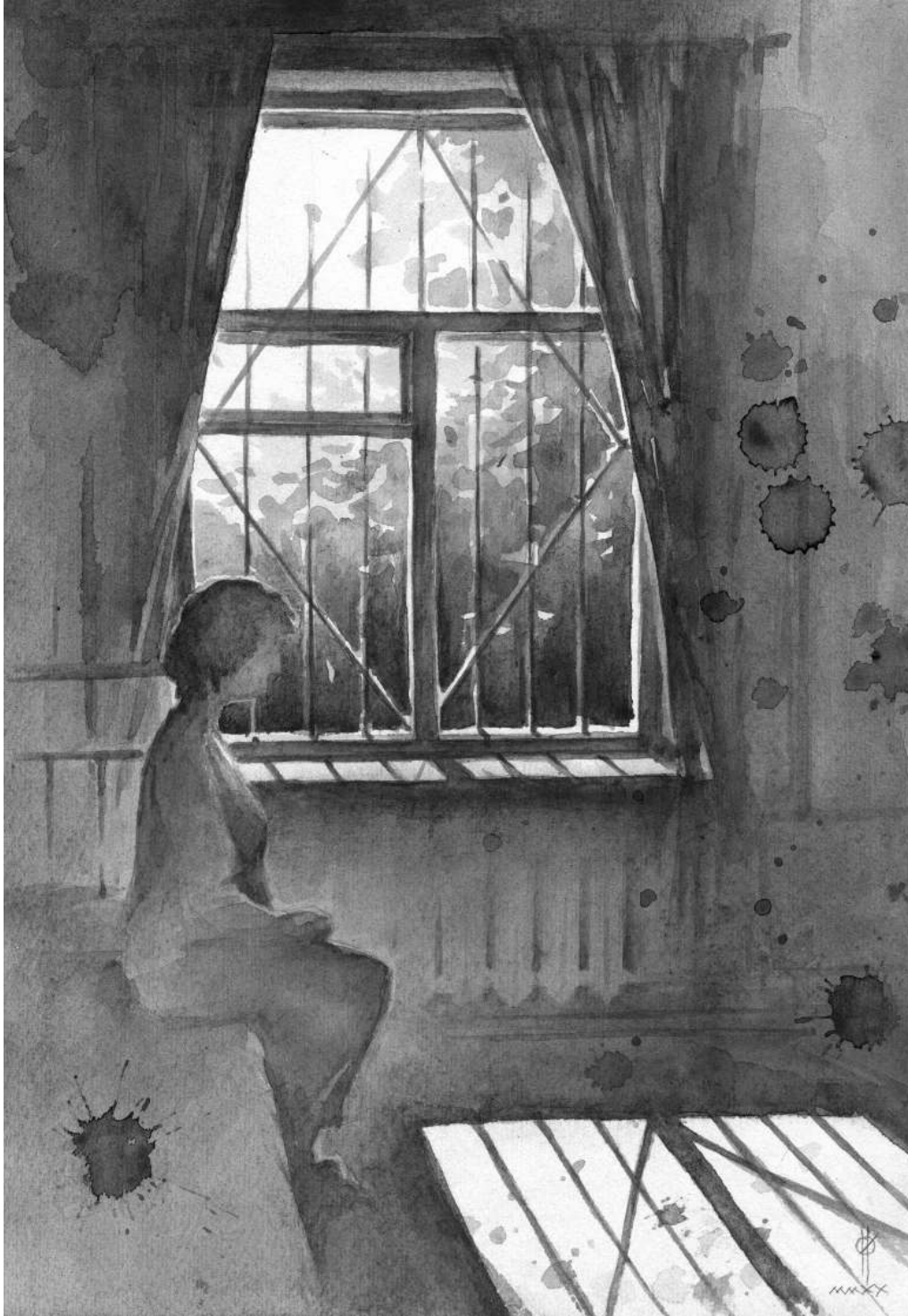
«Да-да, сейчас», — откликнулся из коридора, а сам не мог оторвать взгляд от комнаты, куда уставился через проем. И запах остался прежним, и обои, и приглушенный свет фонаря сквозь оконную решетку и листву, и копия Айвазовского над кроватью. Разве что телевизор был теперь цветной японский, и в нездешней красочности африканского, что ли, ландшафта широкий плоский экран пересекали цветастые бабочки, гусеницы, жуки; работал, очевидно, канал «Дискавери», фоном, без звука.

— Ну, рассказывай, — открыла она диалог за чашкой чая, и он стал рассказывать, но всё невпопад, и главное — не по адресу; она слушала подчеркнуто внимательно, но это и выдавало вынужденную светскость происходящего, следовать за нитью его рассказа очевидно было для нее утомительным трудом, и оттого он рассказывал сбивчиво, комкая концы фраз: мол, и так всё понятно.

Фоном к собственному голосу у него в голове звучали мысли — совсем иного содержания, чем рассказ. Зачем он, собственно, здесь? Зачем было пересекать полконтинента, чтобы угодить в ту же ловушку? Наступить на те же грабли? Ей не было до него дела ни тогда, ни теперь. Он думал, что за годы окреп, стал сильнее, уверенней — но вот он вновь на этой кухне — такой же нелепый, растерянный, как и не было этих лет.

Родной сестрой она ему не была, он даже затруднялся в точности определить их отношения родства. Вместе они не росли, он переехал сюда, в ее дом, когда пошел в шестой класс, и она досадовала, что ей, вынужденной еще и подрабатывать после аспирантуры, легла на плечи эта дополнительная ноша. Друзьями за годы, что прожили вместе, они так и не стали, виделись, как правило, поздними вечерами, когда она бывала без сил, раздраженной, уставшей, ну и разница в возрасте... И разговаривали-то мало, записки в основном друг другу оставляли на дверце холодильника, прижимали магнитом блокнотный листок. Да вот же он, тот самый магнитик с пятью олимпийскими кольцами, тогда-то он был единственным, а теперь вон на дверце еще несколько штук: «Ростов», «Краснодар», «Таганрог»... Кто-нибудь привез, вряд ли она сама ездила, подумал он.

Интересно, а жив ли спустя столько лет тот самый ремень? Покуда повествовал о поступлении в московский вуз, об учебе, а слушательница кивала, воскресало и воскресало в памяти, как из раза в раз вот с такой же точно невозмутимостью в лице она брала его за руку (почти всегда брала почему-то за руку), подводила к кровати, мягко толкала в плечо и целомудренно отворачивалась к окну. Ему же предстояло, раздевшись ниже пояса, улечься на кровать, аккуратно под Айвазовским, и претерпеть несколько серий хлестких стежков. Обнажать тело он стеснялся лишь поначалу, потом это стало рутинной, чем-то само собой разумевшимся, но она все равно неизменно отворачивалась к окну, чтобы дать ему раздеться в одиночестве, и в этом повороте к окну он ощущал издевательски-церемонный оттенок — смысл отворачиваться, если сразу же вслед за этим...?! — и, хуже того, игнорирования, это обозначало четкую дистанцию, придавало происходившему досадный официальный привкус. В конце в виде утешительной ласки она проводила рукой по его волосам и выходила, оставляла одного. Он одевался, ежился, ходил по комнате, готовил уроки, ужинал, стараясь пореже встречаться взглядом с недавней экзекуторшей — несмотря на то, что из роли та выходила мгновенно, перестраиваясь тотчас на равнодушно-благожелательный лад — однако нет-нет да мелькало в глазах нечто победоносное.



Этот репертуар касаний — рука в руке, напутственный хлопок по плечу, боль от ремня и финальное поглаживание по волосам — был их единственным тактильным опытом, неизменным на протяжении нескольких лет. Ритуал наказания ремнем был наивысшей точкой их близости, а так как ни друзей, ни подруг у него в этом городе так и не завелось, он иногда подсознательно, а то и вполне сознательно, чтобы вновь пережить эту близость, норовил взбесить, сказануть за ужином якобы нечаянную дерзость, «забыть» вымыть посуду с вечера...

Впрочем, слишком часто к своей уловке он прибегнуть не решался, так как было реально больно.

— Ну, я очень рада, что у тебя все хорошо сложилось в жизни! — подытожила она его рассказ. — Учеба, специальность! Не зря, выходит, порола! — она посмотрела ему в глаза и улыбнулась.

Он поперхнулся чаем.

— Мда... — замялся он. — Не зря, говоришь... Наверное, не зря... А может, все-таки зря? — он старательно избегал ее прямого взгляда, отводил лицо, совсем как тогда, в те годы.

— Может, и зря, — с готовностью подхватила она. — Тогда думала, что не зря. А вот сейчас не знаю, чего и думать. Времена-то уж не те. У нас опрос был в городе месяц назад: «Как бы вы отнеслись к возрождению физических наказаний в школе и семье». Я ответила, что отрицательно.

Он кивнул. Она не поняла.

— Почему ты кивнул? Тоже отрицательно бы ответил?

Он что-то хмыкнул, избежал прямого ответа, мысленно продвигаясь всё дальше, глубже, в самые ранние воспоминания детства. Что же там такое, самое раннее, самое первое? Дощатые стены многоквартирного дома в крошечном провинциальном городе, пузырящиеся обои, которых хватило лишь на половину комнаты, деревянная же мебель, стол и стулья. В двухэтажном деревянном доме было шесть квартир, по три на этаж, они с матерью жили на первом, окна выходили на перекресток...

— Учеба, специальность, — задумчиво повторил недавние слова. — Разве в этом смысл? Да и работаю я не по специальности.

— В любви, да? Ты это хочешь сказать? — безучастно спросила она. — Так у тебя все хорошо, ты писал. Супруга, дом.

— Так было не всегда, — он смотрел куда-то мимо собеседницы, вверх и вбок, где в углу под потолком висел деревянный аптечный шкафчик с застекленной дверцей, в столицах таких уже давно не было, а здесь — остался. — Так было не всегда. Первую свою... возлюбленную... я встретил на вступительном экзамене, она шла на параллельный поток, сдавала в соседней аудитории. Волновались в коридоре перед экзаменом, познакомились, разговорились, отвлекаясь то и

дело на конспекты и параграфы. Условились дожидаться друг друга после экзамена, большой такой был двор университетский, там и встретились. Оказалось, оба на «отлично» сдали, ну и обнялись на радостях крепко-крепко. У нее, правда, был один. Пришлось отбивать, добиваться. И когда добился... Был август, мы отправились с палаткой в знакомый лес — глухой, безлюдный, и там только и делали, что сексом занимались да еду варили на костре. Почти не разговаривали. Постоянно друг друга хотели.

Непрошенные интимные подробности, он видел, раздражали собеседницу, она определенно не была готова к этим излияниям, но все же не прерывала, слушала молча, ну а он, впад в околосомнамбулическое состояние, стремился высказаться по максимуму, будто смысл имел сам процесс говорения, а уж обратная связь — дело десятое. Ему с ней было, как всегда, неловко, и эту неловкость он теперь хотел разрастить, довести до логического предела, до максимальной концентрации...

— Но все-таки чего-то стало не хватать. Очень скоро, уже на третий месяц отношений. Не мог отделаться от ощущения, будто играю роль. Мы так же много занимались сексом, но уже как-то обреченно, будто были не способны на большее. Не способны на большую близость, понимаешь?

Он продолжил, не дождавшись ее ответа.

— Мысленно изо дня в день я заново переживал эпизоды детства. Вспоминал нашу жизнь с тобой, здесь. Подруге рассказывал выборочно, опуская отдельные моменты, ну или упоминал, допустим, опыт наказаний ремнем, не особо на нем акцентируясь. И она не акцентировалась. Как-то поздно вечером мы сидели одни у меня в общежитии, все убежали чего-то праздновать, а мы остались. Я включал ей музыку, «Venus in Furs» The Velvet Underground. «Красивая песня, — сказала она, — А о чем там?» Я, как мог, перевел. «Исцели его душу ударом хлыста». Молча выслушала, ничего не сказала. «Ну а что! — начал я притворно беспечным тоном. — Мне было бы интересно попробовать! Мы уже всё на свете с тобой перепробовали, а это — нет!» Она быстро свернула разговор, мол, это для нее уже чересчур, и вообще не пойти ли нам присоединиться к празднующим сокурсникам? И мы пошли. А утром следующего дня я получил от нее e-mail. Что, дескать, не может принять в своем мужчине подобные наклонности. Мужчина должен всегда оставаться мужчиной, писала она. Ну, я не сказать, чтобы сильно расстроился, я уже давно искал повода расстаться, вот и подвернулся удачный предлог. Не ожидал, правда, что она настолько расстроится, что сутками будет плакать сама не своя, умолять не бросать. Она-то и не думала расставаться, просто хотела, чтоб перестал валять дурака, намекать на что-то подобное. Но я ушел от нее. К другой сокурснице. Та давно строила на меня планы, ревновала, ждала, когда с этой расстанемся. И вот мы окончательно расстались, и я сидел на бульваре, пил вино с этой другой сокурсницей. «Я знаю, ты тяготишься ролью лидера, эти отношения тебе не подходили, — сказала мне она. — Тебе нужна сильная женщина». И началось, сразу принялись целоваться там на лавочке. И были вместе

до диплома. Встречались то у меня в общежитии, то у нее, когда ее родители уезжали в командировки. На две, на три недели. Тогда я просто жил у нее. Она любила руководить в постели, я был не против, а еще ей нравилось следить за моей учебой, подшучивать, иногда заставлять что-то делать, зубрить конспекты. Это тоже ее, скажем так, заводило. «Почему бы тебе иногда меня не наказывать? Ремнем, как положено?» — предложил я как-то раз. «Отличная идея, — подруга и бровью не повела, — Тем более, столько поводов. А у нас есть подходящий ремень?» И это стало иногда происходить. Но я видел, что она тяготится этой ролью, что старается ради меня. Причинять мне боль ей не особенно-то хотелось, дело ограничивалось, по большому счету, символическим обозначением. «Можно и побольнее» — как-то предложил я. «Почему бы и нет» — пожала плечами она и удвоила старания. Ты меня слушаешь? Почему барабанишь по столу? Тебя что-то напрягает?

— Нет. Нет, ни в коем случае, — она прекратила барабанить. — Продолжай, пожалуйста. Мне очень интересно.

Ей правда было интересно, понял он. В кои-то веки.

— Защитив диплом, я осознал, что так больше нельзя. Мы расстались. Сообразил, наконец, что мне нужна та, кто столь же разделяла бы со мной этот странный интерес, которую не пришлось бы к этому подталкивать, склонять. Я стал ходить на сайты... О, их великое множество. Стал виртуально знакомиться, затем — видеться лично... Бывало и такое, о чем никому не стану рассказывать, даже тебе. Полное взаимонепонимание, одним словом!

Он промолчал. И она не откликнулась.

— Однажды зимой в Берлине, — продолжил он, — я шел в сырых сапогах по Карл Маркс-штрассе и вдруг замер у массивной подвальной двери, на которой был выгравирован такой значок, ты, наверное, не знаешь, тройной такой «инь-ян...» Позвонил в домофон, мне открыли. Секьюрити говорил по-русски, я подумал: «Почему бы и нет?». Деньги, тем более, были. Секьюрити проводил в гулкое помещение — тесноватое, но с высоким потолком, где по центру было что-то вроде медицинских носилок, но шире, массивнее, с регулируемой высотой. Дверь за мной захлопнулась, и тут я понял, что не один в помещении, из кресла в углу поднялась женская фигура в униформе... Ммм... Даже не знаю, что это была за униформа. В Германии под запретом любая нацистская символика, но, вероятно, вся ситуация, весь интерьер, в том числе и униформа женщины — должны были навевать такие какие-то неявные ассоциации. Женщина — как женщина, такие считаются привлекательными, впрочем, это был совершенно не мой тип. А в руке у нее была плеть. На плохом английском мы обговорили правила игры, назначили «стоп-слово» — ну, на случай, если я решу резко все оборвать, типа аварийного выхода. Я снял штаны, трусы, лег на эти самые носилки, она крепко перетянула меня в нескольких местах специальными ремнями — ну, руки, ноги — я и шелохнуться в итоге не мог — и стала, значит, охаживать плетью, то с одной стороны

зайдет, то с другой. Я лежу, типа. А куда деваться?! Терпимо, вроде, хотя и больно. Примерно как ты меня тогда, а может, и побольнее. «Good boy» — похвалила она и отложила плеть. Я подумал, что на этом, наверное, всё, и даже несколько приуныл, но она будто прочла мои мысли, отошла в сторонку и вернулась с обрезком резины, чем-то вроде больничного жгута. И вытянула со всего маху. Выдержки мне хватило еще на один удар, после чего я выкрикнул «стоп-слово» раза три подряд, почти уже и не веря в благополучное избавление. Но женщина сразу убрала свой жгут и стала меня отстегивать. «That's okey, everything is okey,» — бормотала, отстегивая. И сказала на прощание, что мы можем в любой другой день повторить этот опыт. Бесплатно. Но уже без «стоп-слова». И протянула визитку, где на фото был большой загородный дом. Это оказалось в берлинском предместье в получасе езды на машине.

— Так у тебя и машина, оказывается, есть? — воскликнула собеседница. — Он еще жалуется, вы только посмотрите!

— Машины у меня нет. У нее — есть. Но она никуда меня с собой не берет. Устает на работе, потом тусуется где-то с кем-то, возвращается за полночь. У нее наверняка мужчины-любовники, но я даже точно не знаю. Со мной у нее ничего нет, живу и сплю в отдельном флигеле. Она ничего мне не рассказывает, да и мой английский не позволяет. В основном я занят работой в саду. Почти не бываю в городе, почти не покидаю пределов садового участка. Почти ее не вижу. Но у нас есть «свои» числа месяца, пятое и двадцать второе. Дни моей зарплаты, шутит она. Дни избиения плетью до полубессознательного состояния. В подвале загородного дома.

Он умолк... Уставился в стол.

— И что? Я-то тут причем? — нахмурилась собеседница; скорее, впрочем, уже просто слушательница.

— Захотелось просто поделиться. — Он тоже чуть постучал пальцами по столу.

— И чего, ты рад, да? Тебе все это нравится?! Она же просто использует тебя как бесплатную рабочую силу! — она продолжала недопонимающе хмуриться, — Наняла бы садовника! Вообще, что-то не верится в твои рассказы. Если правда в Германии живешь — чего сюда приехал?!

Он стал расстегивать пуговицы рубашки, она, сообразив, несмелым жестом попыталась его остановить:

— Перестань, пожалуйста... Не надо, я верю. Прости.

Но он все-таки снял рубашку и, продолжая сидеть, повернулся вполоборота. Самый яркий след начинался с плеча, становясь тоньше и бледнее по мере продвижения к пояснице, а часть спины ниже лопаток была по обе стороны от позвонков испещрена густой алой сетью размашистых штрихов, будто каллиграф за нехваткой свободного места объединил все свои иероглифы в монограмму, выписал один поверх другого.

— Картина Репина «Приплыли». Можешь одеваться, — сухо сказала она, и он послушался. — И чё я могу для тебя сделать, объясни, будь добр!

Рассказ, похоже, забрал у него немало энергии, и он сидел осунувшись, поблекнув.

— Ты говорила, что раскаиваешься в том, что было тогда между нами. Что времена уже не те, — нашел он силы на речь.

— Я этого не говорила! — моментом возразила она. — Дурачок, ты думаешь, что если я тут перед тобой сейчас торжественно покаюсь, стану на колени, это тебя спасет, исцелит буйную головушку? Нет, нет и нет! — она хохотнула. — Я абсолютно не раскаиваюсь! Твой переходный возраст — это было что-то с чем-то! С тобой только так и можно было, только этим способом хоть как-то достучаться! Даже и не так! Надо было жестче, строже!

— Может, сходим куда-нибудь? В кино, на выставку, — обреченно предложил он.

— Да какое кино, — отмахнулась она. — Уезжай откуда приехал. Не рассчитывай ты на меня. Я такая, какая есть.

— Жить неохота, — признался он.

— И мне неохота, — призналась она в ответ. — Но ведь живем. Впрочем, мне есть, чем тебе помочь.

Она встала и приотворила дверцу аптечного шкафчика. Извлекла пузырек, поставила на стол.

— Капни восемь капель в чай. Свалишься в сон через полчаса, и поминай как звали. Дорогущая хрень. Ни боли, ни судорог, ничего. И в крови не обнаруживается, так что за меня можешь не беспокоиться. Чисто по-родственному предлагаю, цени.

— Откуда это у тебя, — он с недоверием поморщился, взял в руку пузырек, поднес к глазам, прочитал этикетку. — Перекись водорода, — открутил колпачок, понюхал. — Пахнет как перекись водорода.

— Разделаться надо было с одним человечком, — пояснила она.

— И как, разделалась? — он закрутил пузырек, поставил на стол.

— А тебе зачем? Откровенничать, в отличие от тебя, я тут не собираюсь. Чего закрутил? Капни в чай, ну капни, капни. Семь-восемь капель. Смелее!

Он едва заметно мотнул головой, тогда она встала и спрятала пузырек обратно в шкафчик.

— Хватит киснуть, мой тебе совет, — она села. — Ну, чего тут попишешь. Такая вот судьба у человека. Хоть кто-то есть с тобой. Я-то вообще одинешенька.

— Да, я обратил внимание... А почему так получилось?



— А! — она энергично махнула рукой. — Молодая была, на тебя дулась, вечно дома торчишь, уроки готовишь, личную жизнь завести не даешь. А потом ты уехал. Много всего было с тех пор.

Когда защелкнула за ним замок прихожей, долго стояла на пороге комнаты, глядя в дверной проем. Без звука работал телевизор; она вошла в комнату, нащупала в полумраке на комоде пульт, выключила телевизор. На улице совсем уже стемнело, комнату освещал только законный дворовый фонарь. Она нашарила выключатель торшера, помедлила, решила не включать. Прошла вглубь комнаты, села на кровать у окна. Здесь была его спальня. На этой кровати он спал и на ней же извивался раздетым, инстинктивно стремясь увернуться от ее удара, но волевым усилием заставляя себя всякий раз возвращаться в указанное положение... Она тронула подушку, покрывало. Интересно, жив ли тот самый ремень спустя столько лет? Она встала, облокотилась на подоконник, застыла у окна. Фонарь светил бело и бесприютно, но на душе у нее было тепло, спокойно.